

Н. В. ПРАЩЕРУК

**В «ШКОЛЕ СОКРУШЕНИЯ»:
О современной духовной прозе**

Целое направление современной литературы, представленное сегодня широким кругом авторов и разнообразием жанровых и стилевых форм, именуется «православной прозой». Дискуссионным является вопрос, насколько корректно использование конфессиональной терминологии в литературоведческих исследованиях, обращенных, в частности, не только к аксиологическому аспекту, но и выявляющих жанровую и структурную специфику этих произведений.

Ценностное и структурообразующее ядро так называемой православной прозы составили произведения с преобладанием автобиографического и документального дискурсов, с особым статусом повествовательного «я» и установкой на символическую («иконическую») модель мира. Многие из этих произведений направлены на активный диалог с читателем, который ведется автором изнутри церковного опыта и мотивируется сердечным стремлением открыть ему мир Православия. Предметом непосредственного изображения является осмысление герояем своего опыта жизни в Боге и Церкви, реальность его духовного возрастания. Подобные явления литературы вполне целесообразно объединить понятием духовной прозы. Такие попытки, в том числе и с опорой на теоретические основания, предприняты в отношении литературы XIX в. Так, Е. В. Долгова предложила для теоретического осмысления подобных произведений систему следующих критериев: «иконизацию», или «символизацию», которая выражается и в интерпретации локуса, и в создании образа (пейзажного и портретного), и на языковом уровне, не исключая живости и конкретики описания; активное выстраива-

ние референции с читательской аудиторией; не поиск идеала, а его утверждение, и этот идеал — Христос, христианство.¹ Если иметь в виду структурный аспект, то духовная проза — метажанровое явление. Она включает в себя фрагмент, паломнический очерк, автобиографическую повесть и другие жанровые разновидности. По своей сути это тексты-врачеватели, врачеватели наших душевных ран и нашей духовной немощи — через сердечное приобщение к опыту авторов этих текстов.

Учитывая обозначенные параметры и рассматривая их в качестве исходных методологических установок, обратимся к произведениям, в которых духовная составляющая поддержана филологически: художественностью образов и языка, сложностью интонации, оригинальным повествовательным и жанровым решением. Это автобиографические повести прот. А. В. Владимира, Е. А. Домбровской, С. А. Минакова, паломнические очерки Минакова, книга фрагментов П. Н. Мамонова.

Повесть протоиерея Артемия Владимира «С высоты птичьего полета»² составили воспоминания первых семнадцати лет жизни. Вместе с героем мы проходим путь от самых первых детских впечатлений до первой исповеди и причастия. В главе «Ясли» речь идет о том, как каждую пятницу малыши ждали момента, когда их заберут на выходные домой. Читателю явлена абсолютная невозможность для ребенка существовать вне материнской любви: «...мы стремглав бежим к самому дорогому существу на свете — нашей МАМЕ! Она обхватывает нас и прижимает к себе, обдавая нежным теплом, и сама плачет вместе с нами, уткнувшись, как щенята, в складки ее платья (...). В описанной мною картине созерцаю Божественный свет. Теперь мне ясно открывается ее мистический смысл. Нам, близнецам, являлся тогда через родного человека Небесный Отец, и мы, духовные сироты, прикасались к Его простертым дланям, прижимаясь к материнским теплым рукам... Боже правый! Даруй Твоим крошечным созданиям, воззванным через родителей к бытию, отеческую и материнскую любовь; пусть малыши всегда видят бездонные материнские очи, чрез которые

¹ См.: Долгова Е. В. Духовная проза 1830—1870-х годов // Христианство и русская литература. СПб., 2006. Сб. 5. С. 138—139.

² Владимиров А., прот. С высоты птичьего полета. М., 2012. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы в скобках.

Ты, Христе Спасе, глядишь в их сердца и освещашь детские души светом Своей радостотворной любви!» (с. 14—15).

В этом фрагменте явлены не только основная интонация и словесно-изобразительная сторона произведения, но и закономерности его сюжетно-композиционной структуры, внутренней архитектоники. По своему построению книга о. Артемия Владимира продолжает традицию повествовательной двуплановости, идущую от русской классики, например, от Л. Толстого. Эта двуплановость создается двумя повествовательными интенциями — к детализации и генерализации. С одной стороны, перед нами ситуация, событие, картинка, переданные через восприятие ребенка, как бы увиденные вновь, здесь и сейчас. С другой — наряду с этой живой конкретикой — присутствует обобщенный план — тот сегодняшний, «взрослый» взгляд на происходящее, который обозначен уже самим заголовком — и который прояснен автором специально — в самом тексте книги: «Сейчас, с высоты птичьего полета осматривая прожитые годы, я останавливаюсь на одном, совсем не примечательном событии, в котором, однако, склонен видеть точку отсчета и одновременно точку опоры всего своего бытия» (с. 218). Образ, используемый автором, — «с высоты птичьего полета» — несет в себе не только семантику возрастной дистанции, но и обозначает тот угол зрения, который задан абсолютной системой ценностей (поскольку «Христос всегда Один и Тот же») и которым в книге все измеряется. В этом смысле произведение прот. А. Владимира обладает основным качеством духовной прозы, а именно — тем, что, как справедливо указывает Е. В. Долгова, «духовная проза не знает напряженности поиска решения проблемы идеала, так остро поставленной в творчестве великих русских писателей XIX в. — Гоголя и Достоевского», «...если образы святых уже являются иконой Первообраза-Христа, то трагедия воплощения идеала на земле преобразуется в богослужебный гимн».³ Вместе с тем «богослужебный гимн» как семантико-интонационное ядро книги не исключает напряженности ее внутреннего психологического сюжета, организованного острым переживанием несовершенства человеческой души и острым же желанием ее «возрастания», приближения к высшим ценностям. В книге воссозданы самые первые этапы такого «возрастания». Переломным моментом становится смерть близкого человека — бабушки: «Не путем логи-

³ Долгова Е. В. Духовная проза 1830—1870-х гг. С. 180.

ческих умозаключений, а устремлением сердца к родному и бесконечно дорогому человеку, ушедшему в мир иной, я прозрел духовно... Бабушка, некогда не сумевшая удержать мою руку на пороге приходского храма, в эту ночь ввела меня в нерукотворный храм веры, едва лишь сама вошла своей душою в вечность!» (с. 199). Вспоминается Толстой, «Детство», с его главой «Горе»... Вообще, одна из особенностей произведения — его живая связь с русской классикой — органичны в общем повествовательном контексте цитаты из Пушкина, Чехова, Толстого... Они не столько отсылают к филологическому образованию автора, сколько представляют «среду обитания» главных героев, их мир.

Книга о Артемии Владимира принадлежит к тем особенно редким (если не единичным!) сегодня явлениям литературы, которые восстанавливают в правах «украшенное» слово, слово эстетически выразительное, яркое, необычное. В. Н. Крупин, восхищаясь талантом автора, замечает при этом, что «простота описания в „Высоте птичьего полета“ такова, что даже и слова, и строчки не видятся, а только — люди и события».⁴ С таким утверждением можно согласиться лишь отчасти. В том-то и дело, что и слова «видятся» в этом художественно выполненном тексте, они обретают эстетическую весомость (например, что значит одно только слово — радостотворный!).⁵) Автор не боится «говорить красиво» о высоких вещах: «Оборачиваясь назад, я сознаю теперь, что Человеколюбец Христос, Небесный Сеятель, опустил в тот день Свой заступ на иссохшую землю самолюбивого мальчишеского сердца» (с. 189) и т. п. Замечательный дар владения образным словом воздействует на читателя сильнее всяких аргументов. Можно предположить, что такого рода тексты создаются с опорой не только на русскую классику, но и на искусство проповеди. Проповедь наряду с красноречием, формируемым тремя качествами: «docere, delectare, movere» — учить, нравиться, трогать — требует от создателя, как указывал митрополит Антоний (Храповицкий), «единой цельной внутренней настроенности духа человеческого, облагодатствованного специальным даром в таинстве священства...»⁶ Поэтому

⁴ Крупин В. Н. Вступление // Владимир А., прот. С высоты птичьего полета. С. 7.

⁵ Слово это, впрочем, заимствовано из «Лествицы». — Примеч. ред.

⁶ См. об этом: Архиепископ Аверкий (Таушев). Руководство по Гомилетике. http://semynaria.narod.ru/gomilet/gomiletika_averky.html (дата обращения: 08.12.2014).

произведения, подобные «С высоты птичьего полета», следует анализировать не только с помощью литературоведческих инструментов, но и опираясь на гомиетику — науку, изучающую законы построения проповеди.⁷

Любопытно, что автор в finale книги косвенным образом сам определяет специфику своего письма. Я имею в виду сцену, когда герой, не подготовленный исповедью и покаянием, подходит вместе с другими причащающимися прихожанами к Чаше, слышит вопросительно-доброжелательное слово священника, обращенное к нему, и называет его «умилительным»: «Увидев, как другие сложили руки на груди крест-накрест, я сделал то же самое и медленно приблизился к священнику. Тот, подняв на меня взор, спросил: „Миленъкий, а ты исповедовался?“ О, это чудное, умилительное слово! Благодарю Господа, что Он тогда вложил его в уста опытного пастыря, знатока душ человеческих! Это слово было так созвучно светлому чувству, которое поселилось у меня на сердце во время безмолвного предстояния алтарю» (216). Мне кажется, что книга самого отца Артемия написана тем «умилительным» словом, от которого современный читатель давно отвык, но испытывает в нем огромную потребность, равно как и потребность в обретении особого духовного состояния умиления, переживаемого героями книги. «Умиление выражает нечто сокровенное в вере и душе русского народа», — справедливо отмечает в своей статье известный исследователь Ф. М. Достоевского В. Н. Захаров.⁸ Трактуя религиозный смысл этой категории, он опирается на значение слова, полно представленное в словаре В. И. Даля: «УМИЛЯТЬ, умилить кого, трогать нравственно, возбуждать нежные чувства, любовь, жалость. Простосердечное радушие умиляет. Божьи дела умиляют человека. (...) Умиление ср. действие умиляющего; состояние умиленного; чувство покойной, сладостной жалости, смиренья, сокрушенья, душевного, радушного участия, доброжелательства. Молиться в умилении. Созерцать что в умилении или с умилением, умиляясь. Милосердие есть умиление на деле».⁹ В этом эпизоде запечатлен не просто этап духовного пути

⁷ См. там же.

⁸ Захаров В. Н. Умиление как категория поэтики Достоевского // Теория Традиции: христианство и русская словесность: Колл. монография. Ижевск, 2009. С. 163.

⁹ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. IV. С. 493.

персонажа, но и очень лично обозначено то, что «было желанной целью православного богослужения, молитвенного общения человека с Богом».¹⁰

Ек. Домбровская — автор многих книг, которые, к сожалению, почти неизвестны читателю, из них: «Воздыхания окованных. Русская сага», «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны», «Путь открылся... Чехов».¹¹ А между тем, без преувеличения, это вещи уникальные, поскольку — при высоком уровне владения образным словом — автор очень последовательно, с опорой на святоотеческую традицию, придерживается четкого критерия, разграничитывающего душевный и духовный опыт, и пишет именно о духовном опыте и духовном возрастании. Так, в прологе к книге о диаконе Тимофеев, постигающем природу чеховского феномена, прямо говорится об этом: «Православная традиция различает состояние человека „душевного“, еще земного, естественного, и состояние человека „духовного“ — преображенного на пути возрастаия души в исполнении вышеестественных заповедей Христовых; человека, освященного энергиями Духа Святого».¹² Задача немыслимой сложности и тонкости. Автор каждый шаг, каждое движение души своих персонажей сверяет с учением Церкви, с православной аскетикой. В предисловии к повести «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны», о которой пойдет речь в статье, Ек. Домбровская замечает: «Эта книга — и есть попытка погружения в глубины сердечной жизни человека, который, услышав зов Божий, пришел в Церковь, где Господь благословил ему нелестного наставника, о котором можно было бы сказать, что вот он — «един из древних» (2).

Перед нами редкое произведение в современной светской литературе, являющее открытую аскетику в живом опыте самого обычного человека.

¹⁰ Захаров В. Н. Умиление как категория поэтики Достоевского. С. 164.

¹¹ Домбровская Е. 1) Воздыхания окованных, Русская сага. (М.:) Altaspera, 2012; 2) Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны. Altaspera, 2013 (произведение цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи); 3) Путь открылся... Чехов // www.Proza.ru/ Екатерина Домбровская/Проза.ру (дата обращения: 05.04. 15).

¹² Домбровская Е. Путь открылся... Чехов // www.Proza.ru/Екатерина Домбровская/Проза.ру.

Основой повествования стал рассказ о том, как образованная москвичка, журналист и писатель, после тяжелейшей утраты — смерти сына — принимает на 20 лет добровольное послушание при монастыре. Один из подзаголовков частей внутри глав может быть воспринят как ключ к прочтению книги — «в школе сокрушения», поскольку для героини, как, впрочем, для каждого христианина, так важно обрести состояние сокрушенного сердца. Произведение построено таким образом, что бытовая сторона жизни Анны, мир семейных и социальных отношений если и не отодвинуты на второй план, то даются в аспекте ее духовного пути.

Книга имеет автобиографическую основу, но писатель не акцентирует это, а, напротив, вводит повествователя, рассказывающего историю другого человека — Анны, оставившей свои дневники. Такое «осложнение» повествовательной структуры немаловажно, оно наряду с другими аспектами формы призвано донести до нас тему слова, услышанного другим (сравните: в «Братьях Карамазовых» поучения старца Зосимы даются в изложении Алеша). Слово услышано, принято сердечно. Так отчасти преодолевается ограниченность субъективного опыта:

«Оставляю Вам, сестра, свои записки — это не последовательные дневники, тут все перемешано: и подготовки к исповедям, и попытки распутать узлы межчеловеческих отношений в духе Христовой Правды, а не мирского плотского мудрования, тут рядом и мои выписки из святоотеческих книг, которыми я спасалась в самые трудные времена. Но сквозь весь этот хаос дорога, которой вел меня, грешную и немощную, Бог, все-таки просматривается, а потому я надеюсь, что и другим эти записки смогут пригодиться (...). Прошу Вас: не стесняйтесь что-то дописать или оставить за скобками — мы ведь из одного духовного гнезда вылетели...» (с. 19). Предисловие завершается репликой от повествователя, проясняющей структуру произведения: «Оказалось, что рассказ в хронологическом порядке выстроить не получится: во многих тетрадях Анна даже не проставляла даты. И все же внутренняя логика и смысл событий на этих пестрых и, на первый взгляд, разрозненных страницах вызвучивались достаточно ярко и мощно» (с. 21).

Отчасти логику и смысл можно проследить уже в заголовках частей, составивших книгу. Основное повествование начинается главой — «А почему нам должно быть хорошо?» и завершается — «Аще забуду тебе, Иерусалиме...», названной начальной строчкой

136 псалма. Это символично — словно обозначены начало духовных исканий и их итог. Символичны и другие названия, по ним нетрудно угадываются основные вехи пути, ведущего к обретению духовной родины: «Смиряйтесь, девочки», «Токмо беспокровные странники обретают Вефиль», «Любить с креста», «Дрова. Огонь. Молитва», «Между страхом и надеждой», «Прииде крестом радость», «Дыхание пространств»... Автор — следуя за героиней — принципиально отделяет свою позицию от широко распространившейся, по его мнению, в церковной прозе и публицистике «розовой воды» — интерпретаций пути православного человека, несколько прекраснодушных, преуменьшающих трудности и опасности искушений всякого рода, а также, во многом, не разграничивавших душевные и духовные аспекты этого пути. В отличие от такого подхода Ек. Домбровская с самого начала не скрывает трудности, которые приходится преодолевать христианину:

«Разумеется, и старец учил Христовой любви, постоянно говорил о ней в своих проповедях, можно даже сказать, требовал от чад, но все-таки дух его аскетической школы чуть-чуть, едва заметную малость смешал акцент в сторону суровости и некоторой непреклонности: и в требованиях к самому себе, и к своим ученикам. Впрочем, и эта требовательность была ничем иным, как проявлением предельной немалодушной Небесной высоты любви, о которой когда-то гениально сказал в своем Слове на Великий Пяток святитель Московский Филарет (Дроздов):

„Христианин! Пусть тьма покрывает землю! Пусть мрак на языки! Восстань от страха и недоумений! Светись верою и надеждою! Сквозь тьму приходит свет твой (Ис. 60: 1, 2). Пройди путем, который открывает тебе раздирающаяся завеса таинств; вниди во внутреннее Святилище страданий Иисусовых, оставя за собою внешний двор, отанный языкам на попранье.

Что там? — Ничего, кроме святой и блаженной любви Отца и Сына и Святого Духа к грешному и окаянному роду человеческому.

Любовь Отца — распинающая.

Любовь Сына — распинаемая.

Любовь Духа — торжествующая силою крестною.

Тако возлюби Бог мир!“

Любовь Духовника была распинающая. Он нес истинную Правду Креста. И недаром в его келье Анна, которую он однажды ввел туда на исповедь, увидела на столике только что изданные тогда

„Слова и речи“ святителя Филарета со многими в них закладками» (с. 22—23).

Строгость — спасение от «суррогатной душевности» и залог подлинности обретенного. Такая проблематика практически не становится в современной беллетристике. И потому среди православной прозы сегодня достаточно «облегченных» текстов, которые, как мне кажется, уплощают сложность духовной проблематики и не раскрывают во всей непредвзятой глубине испытания, встающие перед христианином. В данном случае, автор показывает как раз трудность «неустанной работы над собой» православного человека. Тогда и радость обретенная — совсем иной цены. «Весна души» — очень правдивая книга, жесткая, но выполняющая в полной мере функцию духовной литературы — врачевания наших душ:

«Горе тем, кто проповедует не так, как Священное Предание и святые отцы Церкви учат, кто упрощает в угоду плоти и собственному самолюбию Евангелие, кто утверждает, что один путь — строгий крестоносный евангельский путь — для монахов, а другой путь для мирян-христиан. В то время как все отцы Православия, все жития святых и подвижников благочестия свидетельствуют, кем бы они ни были в миру, что путь — один, а только образ жизни разный, что каждый христианин — инок по определению, что нет христианина не подвижника, разумеется, в меру природных сил и возможностей» (с. 42—43).

Важен образ наставника, к нему героиня обращается на протяжении всего произведения: «Он не терпел лжи, притворства, „игры“ — даже в самом тонком ее проявлении, — все ведь это было знаком прелести — опасной церковной болезни. А прелесть эта в то время вылезала из всех щелей. Современные нам „старцы“ часто превращали своих чад в рабов своего „величия“, использовали их в своих делах, подчеркивали при этом свою свободу, — свободу якобы святости. Это были монахи-артисты, которых так называл еще святитель Игнатий (Брянчанинов), свидетельствовавший, что и в его время — середину XIX века — от них уже житья не было. Стяжать святость было сверх трудно. А играть в святость, изображать ее — ничего проще» (с. 38—39). И хотя отношения с наставником складывались непросто, Анна, в конце концов, понимает всю силу его спасительной любви.

Прообразом старца является архиепископ Костромской и Галичский Алексий (Фролов), известный строжайшей аскетической верностью духу Евангелия. Вспоминая наставника, Е. Дом-

бровская пишет: «Владыка Алексий нередко обращал сердечное внимание чад к воззрению на реальность духовную. И то, как он это делал, действительно помогало тем, кто стремился к „послушанию мудрования“ не только постигать эту жизнь как „сочинение“, но и с притрудностию искать в своем сердце видение иной, подлинной реальности. В том числе и в пространствах истории».¹³ В книге достаточно эпизодов, которые более чем ярко иллюстрируют эти слова. Один из них — о том, что переживает Анна после Литургии в честь святого равноапостольного князя Владимира: «О, Боже мой! — Только и воскликнулась, сказалась сама собой в сердце Анны догадка: „Святой Владимир ведь крестил Русь миром Христовым!“ Ощущение этого мира она никогда бы не смогла описать. Неземной покой или тишина, не святое даже расположение души, которое бывает в Церкви после Причастия, но состояние неземного блаженства, полноты благости, любви — „мира Божия, который превыше всякого ума“, „исполняющего все существо наше непостижимою силою и небесною сладостию“ (свт. Игнатий (Брянчанинов). (...) После молебна Анна вышла из храма на грохочущее Садовое кольцо. Стояла июльская жара, полдень, люди спешили, машины теснили друг друга, а тем временем Анна, еще погруженная в мир Христов, в его „небесную сладость“ (...) знала несомненно: во время крещения сам князь воспринял такую безмерную Благодать Святого Духа, настолько вместил в себе этот мир Христов, настолько был им исполнен и объят, что этим-то миром, пребывая в нем, он совершал Крещение Руси. Им он думал и действовал, его излучал вокруг себя, им сиял и светил, привлекая к себе сердца людей, просвещая их души...» (с. 269—270).

И уже не важно по большому счету — напечатана твоя статья о князе Владимире или нет. Ведь Бог сохраняет всякое слово, произнесенное или написанное не всуе, а с сердечным пониманием евангельских истин.

Очевидно, что перед нами действительно художественное произведение, свободное от плоского дидактизма и начетничества, отмеченное мастерством описаний, в том числе описаний природы. Вот лишь некоторые примеры: «Место было старинное, дачное, сосны, вместо травы — перины иголок, песок, счастье сидеть под соснами, запрокинув голову, и неотрывно следить за качанием крон

¹³ Домбровская Е. «Подвизайся даже до крови»: Памяти архиепископа Алексия (Фролова) // www.pravoslavie.ru (дата обращения: 04.05.2015).

и слушать их тихий неземной разговор...» (с. 214); «Ей повезло с днями: все были солнечные и на удивление тихие. Сентябрь парил над этим обезлюдевшем местом, которое давно уже покинули суетливые дачники...» (с. 263); «А вдали за старым поникшим забором поблескивала речка, время от времени легко чиркали в небо аисты, подвешивая за собой серебряные струи, и Анна... слушала блаженную тишину» (с. 267); «Наконец, пришел май, а с ним вернулась к Анне ее отрада, ее благословенное одиночество, ее излюбленная жизнь в полузастроенной деревне: последний дом на краю почти обезлюдевшей улицы, крутой высокий берег, прихорашивающиеся по весне леса, болотистые луговины и еле заметным росчерком — во влекущей дали — деревня с таинственным названием Неданово» (с. 331) и т. д., и т. п.

Книга завершается знаковым событием — отъездом Владыки в другую епархию. Анна остается без наставника с приобретенным духовным «багажом». Пройдя «школу сокрушения», она переживает состояние подлинной духовной радости. Символично, что это время перед началом поста, когда Анна «уже трепетала сердцем от ожидания великой весенней... радости, — радости ни с чем в этой жизни не сравнимой: ощущения себя крупицей соборного единства Церкви, причем не только в пространствах горизонтали жизни, но и в пространствах вертикали — в единении с предками»: «...вокруг домаика Анны лежали еще высоченные сугробы снега и надо было каждый день большой лопатой расчищать проход. Еще сиротливо торчал жалкими голыми веточками сад, но уже по-над далями сияла такая высокая младенческая голубизна нарождающейся весны, что оторвать от нее глаз было совершенно невозможно. И почему так колотится сердце? И ждет, и предвкушает, и надеется, и верит... И Анна, стоя на своем крыльце, вдруг начала петь во весь голос, благо вокруг ни одной души человеческой не обреталось: „Крестом Твоим, Господи, и мене укрепив, постов мне даруй, Благий, благомощно скончати отхождение!“ Голос ее звучал крепко и чисто. Однако нужно было идти в дом: вечерело, пора было затапливать печку. К ночи обещали метель...» (с. 367—368).

«Счастливая жизнь мученика Александра»¹⁴ — так называется повесть известного харьковского поэта и эссеиста Станислава Минакова, ныне получившего российское гражданство и живуще-

¹⁴ Минаков С. А. Счастливая жизнь мученика Александра // Минаков С. А. У ограды Бела Града: статьи, очерки, дневники, записки, стихи.

го в Белгороде. «Эти записки складывались лет пять, вплоть до 65-летия Великой Победы. И если в нас, послевоенных, так война болит и не пресекается, то поколение наших отцов с нею сроднено навеки. Я начал эти письмена 2 марта 2005 г., на 21 день по смерти моего отца... Правильно ли начинать словно бы с конца — со смерти? Но смерть и есть начало жизни. Жизни вечной. Потому и святых поминают по дате кончины» (с. 14—15). Обозначены основные темы, организующие повествование: жизни и смерти, истории страны, войны и великой Победы, семьи, любви, памяти.

Сын пишет об отце. Рассказ начинается с самого страшного, что может быть в нашей жизни — с ухода любимого человека. Символично, что сообщает автору-повествователю эту новость его сын, названный в честь отца Александром: «Плохие новости... Твой отец умер...» Так явлена в конкретности факта тема преемственности.

Перед нами документальная проза. Как и произведение Ек. Домбровской, эта книга оригинальна и по материалу, который становится объектом художественной рефлексии, и по уникальности опыта, которым автор делится с читателем. Она окрашена таким пронзительным лиризмом, настолько исповедальна, что нужно находить особые слова и подходы для ее прочтения.

Ст. Минаков восстанавливает во всех подробностях первые дни переживания смерти отца. Мне не приходилось читать такого искреннего и одновременно сдержанно-деликатного рассказа о том, как проходило прощание с близким человеком. В главках с говорящими названиями «Положение во гроб», «В церкви Воскрешения Лазаря», «Могилка», «Сороковины» — восстановлена вся картина прощания и похорон. Такой опыт и приобщение к нему — это тоже «школа сокрушения», помогающая преодолеть страдание. Принять факт смерти близкого человека, смириться с этим — очень непросто. В главке, посвященной отпеванию, говорится «об изначальном значении слова „прощаться“: просить прощения и прощать. Разница меж словами „прощение“ и „прощание“ — в одну буковку. Кажется, совсем нет отличий у глаголов „прощать“ и „прощаться“. Я сказал отцу: «Прости меня, батя; а твоей вины ни в чем нет». И здесь же — свидетельство «сокрушенного сердца» — не ропущшего на Бога, забравшего отца, а, напротив, исполненного благодарности: «Это тоже свидетельство Божьего дара — такой отец. Такой отец

Белгород, 2013. С. 14—76. В дальнейшем произведение цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи.

бывает далеко не у всех, разве мы не знаем? Свидетельство Божьей любви ко мне — и столь длительный жизненный путь моего отца... Я даже подумываю, что отец сам (хотя, конечно же, не сам, ибо что вообще в нашей воле?) длил свое пребывание здесь — от великой любви и сострадания к жене, а также словно и для того, чтобы и я смог приготовиться к его *правильной* отправке в вечную жизнь, чтобы я успел... приобщиться к тому, к чему должно быть причастному православному человеку» (с. 34). Наряду с темой промыслительности каждого события в нашей жизни, а также щемящего прикосновения души к вечности, к самым основаниям бытия, акцентируется тема смерти близкого человека как приуготовления к нашему собственному уходу из этого мира: «Лишая нас близких, Смерть тем самым словно приуготовляет к пониманию Вечности, всё более обращает к ней лицом. С каждой родной кончиной происходит словно отрывание нас от земной жизни (...). Латиняне сказали: человек умирает столько раз, сколько раз он теряет близких. Вот я и думаю, что смерти близких — это и есть такие отрывания жизни от нас, поскольку мы уж очень припеклись к ней, привязались к близким своим. Вот нас последовательно и отрывают „от стенок“ мира сего, дабы мы отвыкали. А потом — раз! — и наш собственный переход в другое. Вообще-то, при правильной жизни, человек должен с радостью смотреть своей смерти в лицо, ждать ее прихода — как спасения и избавления, как порога жизни лучшей, вечной. И вот слова Христа: „Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы“. Христос нас учит судьбой Своей, что и за гробом — жизнь. Иными словами, смерти нет» (с. 42). Следует обязательно сказать о самом образе отца — мученика Александра. Обнаруживаем глубинную перекличку с произведением Ек. Домбровской. Четко обозначена идея мученичества, — подвигничества в миру — как непременного условия обретения подлинной радости — по-настоящему счастливой жизни. Речь идет о том, что от полученных ранений в годы войны отец ослеп, будучи совсем молодым человеком, и долгие годы — более 40 лет — прожил во «тьме кромешной»: «Слепой требует пристального внимания. Что зрячemu пустяк, то слепому — проблема. Нельзя оставить приоткрытой дверь в комнату, нельзя забыть стул, вещь посреди комнаты, нужно подать-принести, помочь. Обычный человек вышел из дома и отправился в магазин или на работу. Отец сам не выходил, его нужно было сопровождать, к чему я, например, привык с детства (...).

Я, как и мама, довел до автоматизма „внутренние знаки“ совместного хождения с отцом. К примеру, при приближении к ступеньке однократно сжимал его ладонь, за которую держался. А когда подрос, слегка прижимал его ладонь уже локтем, под который он держал меня.

„Саша, посмотри!“ — говорила мама, когда нужно было обратить внимание отца. Никаких „пощупай“ я не припомню.

А Саша жил во „тъме кромешной“. Напомню, что это одно из названий ада. Стоит ли спрашивать, легко ли ему было на земле» (с. 36—37). И при этом — ни раздражения, ни обид, ни озлобления.

В главе «Неделя о слепом» писатель, опираясь на евангельский текст и святоотеческие источники, пытается осмыслить судьбу отца в аспекте искупительного пути: это тоже «школа сокрушения» и для отца, и для близких его: «Прожив десятилетия рядом со слепым отцом, скажу, что еще более впечатляет нас попытка понимания страданий того, кто оказывается — вдруг — лишенным такой благодати, самой возможности видеть мир. А ведь нам, зрячим, представить тягость этой чаши, пусть частично, можно — достаточно просто закрыть глаза на минуту. И попытаться пересечь хотя бы собственную комнату» (с. 72).

Завершается книга эпизодом возвращения в родной город. Автор рядом с домом, в непосредственной близости от того места, где прошла военная молодость отца. Память и воображение хранят подробности ушедшей жизни: «Привет, Шурка! — говорю я этому дому. И, проходя мимо, обязательно касаюсь его камней. Сердце мое кровоточит, как разбитая пленка на отцовской голени. Здравый смысл говорит о том, что она зарастет, затянется кожей жизни. Но вакансия отца не может быть заполнена никем. Па, до встречи?» (с. 76). И это, по существу, музыкальное завершение темы, лейтмотивно проведенной через все повествование: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы... смерти нет» (с. 42).

Ст. Минаков является также автором паломнических очерков, которые традиционно интерпретируются как одна из жанровых разновидностей духовной прозы. Писатель опирается на жанр хождений (хождений), что прямо указывается в двойном заголовке одного из очерков «Из красного в красное. Хождение на Кизилташ». ¹⁵

¹⁵ О важности понятия «хождение» в творчестве Минакова свидетельствует книга стихов «Хождение: Стихи, переводы, пьеска (1982—2003)» (М.: Поэзия.ру, 2004).

Авторское уточнение представляется вполне закономерным. Если в литературном путешествии «события, поступки, чувства, мысли, подчиненные определенной традиции и нанизанные на одну нитку — автора, создают ощущение его как литературного персонажа», а универсальным композиционным приемом оказывается нанизывание событий на путешествующего героя, то в хождениях (до XVII в. по крайней мере) мы наблюдаем обратную ситуацию. Здесь личность автора сознательно приглушена, а мерилом ценности становится «полезность» для благочестивого читателя заочного знакомства со святынями.¹⁶ И хотя по сравнению с исходным жанром в современном паломническом очерке мы наблюдаем усиление личностного начала, в повествователе акцентируются все же не индивидуальные качества, а его причастность к миру, о котором он рассказывает.

Знаковым является заголовок первого очерка «Печать обители». Речь как будто идет о формальности — о необходимости отметки-печати на миграционных карточках, без которой передвижение паломников через русско-украинскую границу (очерк написан в 2007 г.) будет чрезвычайно затруднено. Однако образ обретает расширительный, символический смысл. Этот смысл созидается и опорой на общекультурный символизм, но главное, конечно, ассоциативно подключающиеся к образу евангельские аллюзии, связанные с книгой Откровения Иоанна Богослова, «книгой за семью печатями», печати с которой снимет лишь Агнец: «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чelaх рабов Бога нашего» (Откр. 7: 2—3). Высокая евангельская семантика печати (как знака Бога живого) подчеркнуто обращена к православному контексту: не просто печать, а печать обители. Речь идет о православных монастырях, которые посещает паломник (в первом очерке рассказывается о посещении Спасо-Преображенского Валаамского монастыря). «Отмеченность» героя миром, который ему дорог, сердечная причастность к нему выражены в очерке с большим лирическим чувством: «Проходя „веселыми ногами“ по паломническим местам, посетив все пять русских Лавр,

¹⁶ См. об этом: Долгова Е. В. Духовная проза 1830—1870-х годов. С. 183.

многие другие пустыни и обители, ты в молитвенный круг своего сердца уже не отстраненно-умозрительно, а причастно-родственно вводишь и Антония и Феодосия Печерских, и Зосиму и Саввата Соловецких, и Илью Муромца (...) и Сергия Радонежского, и Старцев Оптинских, и Серафима Саровского, и Иоасафа Белгородского, и Иоанна Кронштадтского. И эта совокупная духовная, а то и прямо физическая опора в сих святых — воистину оживленных в сердце твоем — есть несомненное умножение твоих слабых, убогих сил. (...) Оттого и не смолкает в твоем сердце акафист преподобным Сергию и Герману...»¹⁷

Повествование ведется в настоящем времени: «Я жду игумена»; «...спускаюсь к деревянной пристани»; «Время тянется, но мне некуда больше спешить, и хорошо на сердце». Эффект «длящегося настоящего» усиливают широко используемые назывные предложения с характерными «вот», «и вот», призванные приблизить читателю то, о чем рассказывается, сделать увиденное и пережитое повествователем зримым, ощущимым и для читателя, «здесь и сейчас»: «Вот он каков игумен Панкратий (Жердев), возглавляющий братию Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, прежде состоявший в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре на послушании эконома. Строг во взгляде и слове»; «Вот и время правления игумена Дамаскина (1839—1881 гг.) — целая эпоха в жизни Валаамского монастыря (да еще какая), начало внешнего процветания обители, при высокой внутренней монашеской жизни».¹⁸ В одном из таких предложений автор открывает суть своего отношения ко времени: «И вот — вновь садовод Григорий, через век. Даже так: из XIX в XXI». Следя авторской логике и отвлекаясь от конкретного эпизода, можно уточнить — не из XIX в., а из глубины первых веков исповедания христианства на Руси. Не случайно во втором очерке автор, рассказывая нам о святом Стефане Сурожском (скончался ок. 795 г.) и о чудесах, произошедших у его раки, подчеркивает, что летняя резиденция святителя находилась в Кизилташе (район современного Судака) во второй половине VIII в., т. е. «за два столетия до крещения Руси». Преодолевая историческое время, мы обретаем пространство «вне времени», которое зrimо, очевидно является нам духовную преемственность и в кото-

¹⁷ Минаков Ст. Печать обители // <http://ruskline.ru/analitika/2007/09/19/pechat-obiteli> (дата обращения: 05.12.2014).

¹⁸ Там же.

ром вместе с нами пребывают все святые и мученики за веру, все почившие православные, поминаемые на службе: «...начинаю поминать имена, список которых открывается схимонахами, за ними следуют иные монашествующие, священники, послушники, миряне (...) имена подвижников, восстающие из глубин лет (веков), словно сливаются с не столь давно преставившимися (а рядом ведь слышны другие имена, озвученные чтецами по другим синодикам), объединяясь в единую великую поминальную ораторию. Мы словно окликаем их души, просим за них, входим с ними в связь. И если умственным взором попытаться взглянуть на это „призывание“ из космоса, с небес, то увидишь-услышишь впечатляющую, величественную картину одновременного в этот час „голосового чтения“ — вне границ меж живыми и мертвыми».¹⁹

Радостью об обретенном Христе и любовью к Нему согреты щедро приводимые автором цитаты из Священного Писания и святоотеческих трудов. Все они в общем цельном контексте воспринимаются как знаки сердечного знания о «мирах иных» и как возможность к ним прикоснуться.

Связь времен осуществляется и через слово поэта, художника. Потому так много здесь «литературы», так органичны цитаты из И. Шмелева, из русских поэтов — Ф. Тютчева, С. Есенина, О. Мандельштама, Э. Багрицкого, Ю. Кублановского и других. В очерке «Из красного в красное. Хожение на Кизилташ» Минаков приводит собственное стихотворение о мученической смерти игумена Кизилташского Свято-Степано-Сурожского монастыря отца Парфения:

Сугдея, Солдайя иль Сурож (...)
А мне же все грезится: весь
В огне преподобный Парфений,
Сожженный татарами здесь...²⁰

Соединение «стихов и прозы остраниет и обостряет природу того и другого»,²¹ сообщая рассказу пронзительное звучание и усиливая воздействие на читателя.

¹⁹ Там же.

²⁰ Минаков Ст. Из красного в красное. Хожение на Кизилташ // http://magazines.russ.ru/novvi_mir/2009/8/mil.html/ (дата обращения: 08.12.2014).

²¹ Капинос Е. Малые формы поэзии и прозы (Бунин и другие). Новосибирск, 2012. С. 8.

Рассказ о трех святых в этом очерке художественно тонко поддержан сквозным цветовым сюжетом, связанным с объемной символикой красного. От заголовка и эпиграфа из стихотворения Ю. Кублановского — «...Красное — это из красного в красное / В стыниющей честно груди...» — повествование движется к целому ряду реалий и предметов — Краснокамск, цвет камня, ленточки и крестики красного цвета, указывающие паломникам путь к монастырю, «красные кровли», «красная церковная луковка» и т. п. И, наконец, в finale Минаков использует ярко выразительный образ — «среди красных камней» — иконка «Ангела-хранителя в красном (!) одеянии». Цвет не столько «раскрашивает» мир, о котором рассказывается, сколько символически интерпретирует его. Страдания и кровь мучеников за веру, пламя, в котором сгорело тело отца Парфения, «военного и церковного орденоносца, героя Крымской кампании 1854—1855 гг., умницы, автора оригинальных инженерных изобретений по подъему затонувших кораблей», — все это красный. Но хоругви вишневого (сгустившегося красного) цвета и Ангел-хранитель в красном как цвет богослужения во время Страстной, Вербного и Воздвижения Креста Господня уже несут иное значение — Преображения и Господней Любви. Эта символика акцентирована образом светящегося семиметрового креста, который втащили на Святую вершину под руководством командира бойцы местной воинской части: «И — чудо: крест светился затем всю ночь! Да таким необыкновенным светом, что у военнослужащих и членов их семей, которые выходили на улицу взглянуть на диво, захватывало дух».²²

Эта же символика продолжена в образе «нескольких зеленых ростков», которые пробивались «из слегка увлажненного углубления в полу» на фоне «красных камней». Смысл такого финала более чем красноречив: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12: 24). Зеленые ростки здесь как живые свидетельства того, что смерть побеждается верой и жертвенной любовью. Поэтому не случайно, что следующий очерк «О чём поет Киселева балка»²³ посвящен пасхальным переживаниям па-

²² Минаков Ст. Из красного в красное. Хожение на Кизилташ // <http://magazines.russ.ru/novvimi/2009/8/mil.html>.

²³ Минаков Ст. О чём поет Киселева балка // <http://odnarodyna.com.ua/content/o-chyom-poyot-kiselyova-balka> (дата обращения: 08.12.2014).

ломника. Он рассказывает, как мир, в котором жертвенной смертью и воскресением Христа побеждена смерть, для православного человека становится разноцветным и поющим.

Книга П. Мамонова «Закорочки» — на первый взгляд, совсем иного рода. Сдержаный, афористичный стиль письма, снижающие всякий пафос бытовые зарисовки... Название знаковое, отсылает нас к миру детства, к тому времени, когда мы делаем первые шаги нашей сознательной жизни. И это принципиально. Создавая книгу о пути к Богу, о душе, он не просто хорошо понимает, он очень лично переживает то, что, говоря словами Евангелия, «если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». Автор пронзительно передает состояние сыновней беспомощности перед Отцом Небесным и абсолютной открытости, доверчивости по отношению к Нему: «Всю жизнь будет мотать. Это нормально. Я проще стал относиться. Я грешен, а Бог мой — благ. Вот и тянишь к Нему всей своей тощей шейкой, как птенец тянется к червяку в клюве матери.

Пташечки-голубушки,
ситцевые платыца,
пропоют мне песенку,
солнышко закатится.
Распахну я руки на своем „бегу“.
Не могу не прыгать, просто не могу!»
(из миниатюры «Радость», с. 32).

Чувство, с которым написана книга, хорошо проясняют размышления епископа Феофана Затворника: «...Премудрость зовет к себе безумных: „кто неразумен, обратись сюда“» (Притч. 9: 4). Стало быть, умникам нет входа в дом Премудрости или в св. Церковь. Умность всякую надо отложить у самого входа в этот дом... Входя в церковь, оставь ум свой и станешь истинно умным... Ах, когда бы мир уразумел премудрость эту!»²⁴

П. Мамонов широко цитирует святых отцов. В миниатюре «Вера» — Григория Богослова: «Вера есть непытливое согласие» (с. 33), в «Себялюбии» — Паисия Святогорца: «Когда ты выбрасываешь из себя свое „я“, в тебя бросается Христос» (с. 44), а в «Простоте» (показательно, что миниатюра с таким названием

²⁴ Феофан Затворник, св. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. М., 1991. С. 35.

есть и во втором и третьем томах!) приводит слова преп. Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов со сто; где мудрено — ни одного» (с. 56) и Исаака Сирина: «Великая простота прекрасна» (с. 74). В книге показано это живое движение души от простоты естественной к простоте великой или совершенной, о которой писали святые отцы.

«Закорючки» написаны в жанре фрагмента, по законам малой художественной формы.²⁵ Для этого жанра характерны предельная смысловая и пространственно-временная концентрация, ослаблениеfabульного начала и целая система минус-приемов, те «пропуски», которые и формируют из всякого рода недоговоренностей и отрывочности «плотность» текста, его семантический объем.²⁶ Своеобразными центрами книги, словно собирающими вокруг себя зарисовки и впечатления, становятся емкие афоризмы самого автора: «Жить очень сложно. Очень мало любви и много одиночества. Долгих трудных часов, когда никого нет или вообще никто не нужен... Тогда протягивает руку Бог. Когда уже не ждешь и не можешь простить» («Любовь», с. 40); «Нельзя подменять настоящее ловко сказанным; времени нет» («Творчество», с. 49); «Нету чистой памяти. Всегда все завернуто в это мгновение» («Воспоминания», с. 60); «Одному Богу известно, как бывает тяжело. Но Богу известно» («Помощь», с. 65) и т. п.

Среди афоризмов есть особые — парадоксально-метафорические: «Внимательно отнеслись, каждое дело — снежинка: веточка, лучи, таинственный смысл» («Снежинка», с. 59); «Ветер гонит пыль» («Гонения», с. 71); «Утром вышел: снег, в поле охотник и собака прыгает. Присмотрелся... — две елочки» («Мнение», с. 73), а также — прямо выводящие читателя в бытовую, предметную сферу ежедневного человеческого существования: «Дед разговаривает с внуком. У деда нормальное лицо, и внук правильно показывает рукой вдаль» («Отцы и дети», с. 68) и т. п. Этими афоризмами, выполняющими функцию семантических и композиционных

²⁵ Понятие малой формы, фрагмента обосновывается в статье Ю. Н. Тынянова о Тютчеве. См.: Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 38—51.

²⁶ См. об этом подробнее в указанной выше статье Тынянова и монографии Е. В. Капинос.

«узлов», не только акцентируются основной смысл и тон произведения, но и создается его ритмическая структура. Концентрация мысли такова, что содержание некоторых миниатюр умещается в одно слово: «Знание», «Тишина», «Лень», «Завтра» и т. п. На фоне такого плотного текста ярче проступает поэзия тех фрагментов, в которых автор передает восхищение красотой Божьего мира. Один из замечательных примеров — миниатюра «Смирение» (34). А кроме того, значение фрагмента подчеркивается нередко поэтическими вкраплениями, соединение «стихов и прозы остраниет и обостряет природу того и другого».²⁷

Темы включенных в книгу фрагментов различны — от самых высоких — «Святой Дух», «Божий мир», «Причастие», «Храм» и т. д. до бытовых, повседневных — «Волосы», «Мышь», «Муха», «Персики», «Лень», «Комфорт» и проч. Поводы для размышлений, на первый взгляд, могут показаться случайными, спонтанными, прямо не связанными друг с другом. Однако среди как будто совсем свободного разнообразия есть фрагменты с повторяющимися названиями. Их восемь, и они имеют характер вариаций. Мы встречаемся с эффектом тематического возврата, а «возврат всякий раз меняет качество темы, и даже если она точно повторена... то ее переживание будет новым».²⁸ Более того, повторенные дважды среди многих других эти заголовки, по существу, прочерчивают символический сюжет книги: «Гонения» — «Смирение» — «Совесть» — «Простота» — «Счастье» — «Надежда» — «Радость» — «Христос». Словно обозначаются основные константы и вехи духовного пути человека. А пуантированный финал, продиктованный законами жанра малой формы, дает не только эффект возрастания смысла, но и усиливает степень соотнесенности отдельных составляющих в произведении. Так, первый том завершается фрагментом «Благая весть», включающим цитату из Евангелия от Луки, второй — миниатурой «Красота», а третий — фрагментом «Христос», в котором цитируется о. Дмитрий Смирнов (его определение христианства из проповедей), а также преп. Макарий Египетский: «Ни на небе, ни на земле я не встречал ничего более прекрасного, чем душа человеческая» (с. 74).

²⁷ Капинос Е. Малые формы поэзии и прозы. С. 8.

²⁸ Там же. С. 7.

Завершая так серьезно и высоко каждый свой том, П. Мамонов подчеркивает самое главное — стремление показать, как душа человеческая, пробужденная Благой вестью к подлинной духовной жизни, преображается, постигая в самых неожиданных вещах и обстоятельствах красоту Христовой Истины.

Книги, о которых идет речь, дают читателю возможность сердечно прикоснуться к бесценному опыту этого постижения. А системный анализ образно-символической и формальной структуры этих вещей позволяет говорить о возвращении современной литературы к традициям духовной прозы.